

Милая!

Чувствую, что я очень болен и не знаю, переживу ли болезнь, меня терзающую. Не плачьте, умоляю Вас, потому что Вы расстроите свое здоровье, которое берегите для сестры и брата. Целую Вас и прошу благословенья.

Н. Десятов

Что прибавить к этим бумагам, так ⁵ неподдельно рисующим ⁶ мужественную, простую, чистую душу несчастного молодого человека?

Надобно прибавить одно только, от лица всего русского общества, — сказать слово — если не утешения — что может утешить в такой потере? то сочувствия бедной ⁷ матери несчастного ⁸.

Да скажет ⁹ ей каждая и каждый в нашей земле: Вы имели сына, благороднее которого не имела ни одна мать, и какова бы ни была Ваша скорбь о нем ¹⁰ гордитесь ею, и да укрепится дух Ваш ¹¹ сочувствием всего русского общества.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Зачеркнуто: «Непоколебимое».

² Переправлено из: «доказать свою невинность».

³ Зачеркнуто: «16 ноября Десятова зарыли между валом и оградой Бежецкого городского кладбища. В письме к товарищам Десятов пишет: «Умоляю Вас похоронить меня близ церкви Вознесения». Церковь эта в с. Расторопове в 50 верстах от г. Бежецка. Почему же не исполнили его последнего: умоляю?—Не позволили».

«Просили разрешения у графа Баранова, — отказал: по закону тело Десятова должно зарыть в черте города Бежецка. Самоубийца не может делать никаких завещаний. И после, что есть же люди, которые кричат, будто у нас не исполняют законов».

«17 ноября ночью приезжает из Петербурга в Бежецк отец Десятова. Он ничего не знает. Посланная к нему эстафета не застала его в С.-Петербурге. Ночью он ищет квартиру сына. В хлебопекарне огонек. Отец стучится в окно: «Где квартира корнета Десятова?» — Какого Десятого? Что сорок тысяч-то украл? Его зарыли сегодня!»

«Корнету Десятову было 20 лет: в 1859 году выпущен из Новгородского Кадетского корпуса; не имел независимого состояния».

⁴ Рукопись неизвестного обрывается на полулисте, неровно оторванном и повидимому уничтоженном, вследствие чего содержание его полностью не дошло до нас.

⁵ Зачеркнуто: «живо».

⁶ Зачеркнуто: «благородную».

⁷ Зачеркнуто: «мысль о которой была последней мыслью умирающего».

⁸ Зачеркнуто: «страдальца».

⁹ Зачеркнуто: «вместе с нами».

¹⁰ Зачеркнуто: «многие позавидуют вам».

¹¹ Зачеркнуто: «общим».

II. НЕИЗВЕСТНЫЕ РЕЦЕНЗИИ НА ВОРОНЕЖСКИЕ ИЗДАНИЯ

Публикация Н. Богословского

Рецензии на «Воронежский литературный сборник» 1861 г. и на «Воронежскую беседу» 1861 г. впервые были опубликованы без всякой подписи в журнале «Современник», 1861 г., № 12, стр. 189—194 и стр. 195—210.

Принадлежность их Чернышевскому устанавливается на основании собственноручной записи Чернышевского, содержащей список его статей и рецензий.

Незначительные с первого взгляда рецензии эти представляют определенный

интерес. Они косвенно связаны с давними спорами о народности в литературе, разгоревшимися с новой силой в журналах конца 50-х и начала 60-х годов.

Появление провинциальных сборников, посвященных изучению «элементов народного быта» на «местном» материале, не могло не привлечь к себе внимания столичных журналов. Так, например, в 1860 г. на выход «Пермского сборника» (о котором Чернышевский говорит в первых же строках данной рецензии) откликнулись и «Отечественные Записки» и «Современник». Чрезвычайно характерно то обстоятельство, что в «Отечественных Записках» рецензия на «Пермский сборник» шла под общей рубрикой «Различные направления в изучении русской народности» и самому разбору сборника предшествовала вводная статья, дававшая краткий обзор теорий народности в литературе от екатерининских времен до конца 50-х годов XIX века (см. «Отеч. Зап.», 1860, т. СХХІХ (март), стр. 24—36). Вводная статья эта заканчивалась следующими словами: «Мы еще не знаем элементов нашего народного быта и нашего народного характера, но благодаря трудам наших ученых, мы надеемся их узнать. Вот почему мы намерены с особенным вниманием следить за всеми трудами в этом направлении...»

Далее шла рецензия на «Пермский сборник», в которой «Отечественные Записки» продемонстрировали бесстрашие «академического» подхода к материалу. Вся рецензия была посвящена главным образом статье М. Рогова «О свадебных обрядах в Пермском уезде»; «Отечественные Записки» старались заинтересовать читателей чисто этнографическим и фольклорным материалом, напечатанным в сборнике.

Совершенно иначе подошел к тому же сборнику «Современник» (см. № 5 1860 г.). «Современник» отодвинул на второй план этнографический материал «Пермского сборника» и заострил внимание читателей на документах и статьях, действительно касавшихся народной жизни в прошлом и настоящем. «Современник» писал: «В «Сборнике» приведено несколько документов о Пугачевском бунте, об осаде Кунгура в 1774 г., передается биография архимандрита Иакинфа [виновника крестьянских волнений в Зауралье, известных под именем «дубинщины». — Н. Б., г. Зырянов рассказывает о смутах в Шадринском уезде в 1842 г.— все домашние истории, в которых хорошо отражается внутреннее положение страны, отдаленной от центра государства и часто делавшейся жертвой безурядицы (Последняя часть фразы несомненно вызвана цензурными соображениями. «Современник» лучше других журналов знал, что жертвой безурядицы была вся страна, а не только отдаленные провинции, но высказать это совершенно открыто было конечно немислимо).

Подробнее всего «Современник» останавливается именно на статье об архимандрите Иакинфе, который «с необузданным самовластием» угнетал крестьян и был убит в конце концов восставшими крестьянами. «В этой истории,— писал анонимный рецензент «Современника»,— мы найдем много фактов для объяснения народного характера, как он представляется нам в настоящую минуту».

Нетрудно заметить, что тут в подцензурной рецензии передавалось в сущности то, что с полной ясностью могло быть сказано лишь в прокламациях идеологов крестьянской революции.

Надо сказать, что в «Отечественных Записках» эти «домашние истории» «Пермского сборника» почти обойдены молчанием. Там об этом материале мимоходом брошено лишь беглое безразличное замечание.

Вслед за Пермью свою лепту в дело изучения «элементов народности» и «народного характера» попытался внести и Воронеж. В 1861 г. появились там два огромных печатных тома: «Воронежский литературный сборник» и «Воронежская беседа». Появление их, в особенности первого сборника, могло вызвать только разочарование у Чернышевского.

Беллетристический отдел «Воронежского литературного сборника» был забит

никуда негодными стихами и доморощенными переводами, а в «научно-публицистическом» разделе главное место было отведено таким «ученым» трудам, как «Жизнеописание митрополита киевского и галицкого Евгения», статья свящ. Никонова «О благочестивых обычаях и религиозных учреждениях, существующих у жителей Воронежской епархии», «Очерки поверий, обрядов, примет и гаданий» и т. д. и т. д.

Само собою разумеется, что эти трактаты богомольных воронежских краеведов не могли получить одобрение Чернышевского. С первых же строк рецензии Чернышевский напомнил о «Пермском сборнике», «дельное направление которого было в 1860 г. отмечено в «Современнике». По отношению к «Воронежскому литературному сборнику» он берет скрыто-иронический тон. Осудить «церковный уклон» «Воронежского сборника» открыто нельзя, и Чернышевский прибегает к излюбленному им способу подбора цитат, которые говорят сами за себя. Короткие язвительные реплики его, заключенные в скобки, с первого взгляда невинны, но в действительности весьма ядовиты.

Пустота, бессодержательность статей, наполняющих «Воронежский литературный сборник», становится ясней и ясней по мере развертывания красноречивых цитат.

В рецензии Чернышевский разбирает упомянутую статью Никонова. Желая подчеркнуть, что восхваление свящ. Никоновым одной «чудотворной» воронежской иконы не бескорыстно, Чернышевский вставляет под видом продолжения цитаты замечания от себя. Никонов пишет: «У старожилов города и в целых некоторых фамилиях живо хранится в памяти постоянное и всегда особенное уважение, каким чувствуется икона сия. Чернышевский добавляет, не закрывая кавычек: находящаяся в церкви, при которой служит автор».

В рецензии на «Воронежскую беседу» Чернышевский отдает ей полное предпочтение перед «Сборником», поскольку в «Беседе» напечатаны интересные документы о Пугачевщине, стихи Никитина и автобиографический «Дневник семинариста», стихи Н. Берга, статья о Кольцове (не блещущая, правда, особыми достоинствами, но по крайней мере тематически приемлемая) и т. д.

Отметив, что «Беседа» не сумела удержаться от напечатания некоторых «провинциальных пустяков и наивностей», Чернышевский подробно остановился на поэме Никитина «Тарас» и на его «Дневнике семинариста». Надо сказать, что незадолго до появления «Беседы» И. Никитин скончался (16.X, 1861 г.). Чернышевский в свое время выступал с резкой оценкой стихотворений Никитина, которые он считал эпигонскими, книжными и оторванными от жизни (см. «Современник», 1856, № 4, Собр. соч. т. II, стр. 349—354).

В «Тарасе» и в «Дневнике семинариста» Чернышевский усмотрел сдвиг Никитина в сторону сближения с действительностью и с большой похвалой отозвался об авторе этих произведений, составивших по его словам украшение «Воронежской беседы».

ВОРОНЕЖСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ СБОРНИК,

ИЗДАВАЕМЫЙ Н. ГАРДЕНИНЫМ ПОД РЕДАКЦИЕЙ И. МАЛЫХИНА.

ВЫПУСК I.

ВОРОНЕЖ. 1861.

«Пермский сборник» хорошо зарекомендовал перед публикой провинциальные сборники. Ободренные и соблазненные благосклонным приемом, который был сделан ему петербургскими журналами¹, провинциальные сборники с его легкой руки стали появляться и в других местах и тоже обратили на себя внимание публики, которая вообще как-то снисходительно смотрит на провинциальные издания, и всегда ожидает от них чего-нибудь дельного. И это ожидание имеет свои основания; столичные журналы, газеты и всякие периодические издания — дело обыкновенное, так сказать, будничное: они являются каждый месяц, каждую неделю и даже каждый день;

заготовление и обработка их ограничены тесным пределом известного срока для выхода книжек; все делается наскоро, чтобы только успеть к назначенному сроку. В столицах такое множество периодических изданий, и выход в свет журнальной книжки или газетного листка есть явление, несколько не замечательное в общем течении столичной жизни. В провинциях же, напротив, появление какого-нибудь туземного сборника есть явление далеко выступающее из ряда обыкновенных; к изданию сборника приготавливаются долго, в составлении его участвуют все знаменитости туземные, весь цвет и сок провинции. Предметами для статей избираются какие-нибудь местные особенности, или интересные достопримечательности, которыми славится провинция, и которые, так сказать, составляют ее специальность и гордость. Такие-то предметы особенно интересуют столичных и других провинциальных читателей, на них они прежде всего и бросаются в провинциальных сборниках. А между тем эти последние, по свойственной провинциалам скромности, как-то не охотно говорят об особенностях и достопримечательностях своей родины, боясь и конфузясь особенно пред столичными читателями, которых провинциалы считают людьми гордыми, холодными и эгоистическими, которые интересуются только тем, что их окружает, а на провинцию смотрят с презрением и не имеют ни малейшего желания узнать то, чем славна она. Но зато, с другой стороны, провинциалы слишком наивны; если вы из вежливости покажете вид, что готовы слушать рассказы об их родине и интересуетесь ее достопримечательностями, они замучат вас самыми подробными повествованиями о том, что у них и как у них, воображая, что какие-нибудь провинциальные пустяки и для вас так же важны и интересны, какими кажутся для них. В таких случаях провинциала нельзя слушать без смеха и сожаления. Все это — провинциальная недоверчивость и наивность — отразилось и на «Воронежском сборнике».

В учебном отделе «Сборника» помещен «Очерк жизни и ученых трудов Евгения митрополита киевского», уроженца воронежского². Автору очерка почему-то представилось вот что: «никак не смеем думать, чтобы наша статья заинтересовала кого-либо из просвещенных соотечественников нашего отечества» (стр. 244). Помилуйте, отчего-же? Митрополит Евгений личность известная, ученые труды его тоже очень почтенны, и ваша статья заинтересует не только соотечественников вашего отечества, может быть даже делается известною «в учебном мире отдаленной Европы». А и в самом деле, подумал автор; потому что «исследовав пути промысла в сумраке веков минувших и воскресив из праха забвения славу и просвещение умерших, Евгений оставил по себе избыток разума и глубоких исследований о древности, сделался вторым русским Нестором, философом и богословом, прославившим Россию в учебном мире отдаленной Европы» (стр. 235). Затем автор вошел в свою колею и пошел повествовать в таком роде.

«Евфимий Алексеич (Евгений) 4 ноября 1793 г. вступил в законный брак с девицей тамбовского наместничества города Липецка, дочерью купца Антона Филиппова Расторгуева, Анною Антоновною. 25 марта 1796 г. определен присутствующим воронежской консистории, имея постоянное жительство в городе Воронеже, в собственном доме, близ Ильинской церкви (знаете?). От этого брака имел он трех детей, именно: 26 августа 1794 г. родился у него сын Адриан, который 25 марта 1795 г. скончался; 9 марта 1797 г. родился еще у него сын Николай, умерший так же в младенчестве; 3 августа 1798 г. родилась дочь Пулхерия, умершая одного году; 21 августа 1799 г. скончалась и супруга его Анна Антоновна на 22-м году от рождения. Где погребены первые его два сына Адриан и Николай, неизвестно (жаль; отчего бы не исследовать этого?); а жена его Анна Антоновна (а не Анна Ивановна?) и дочь Пулхерия покоятся в пригородной

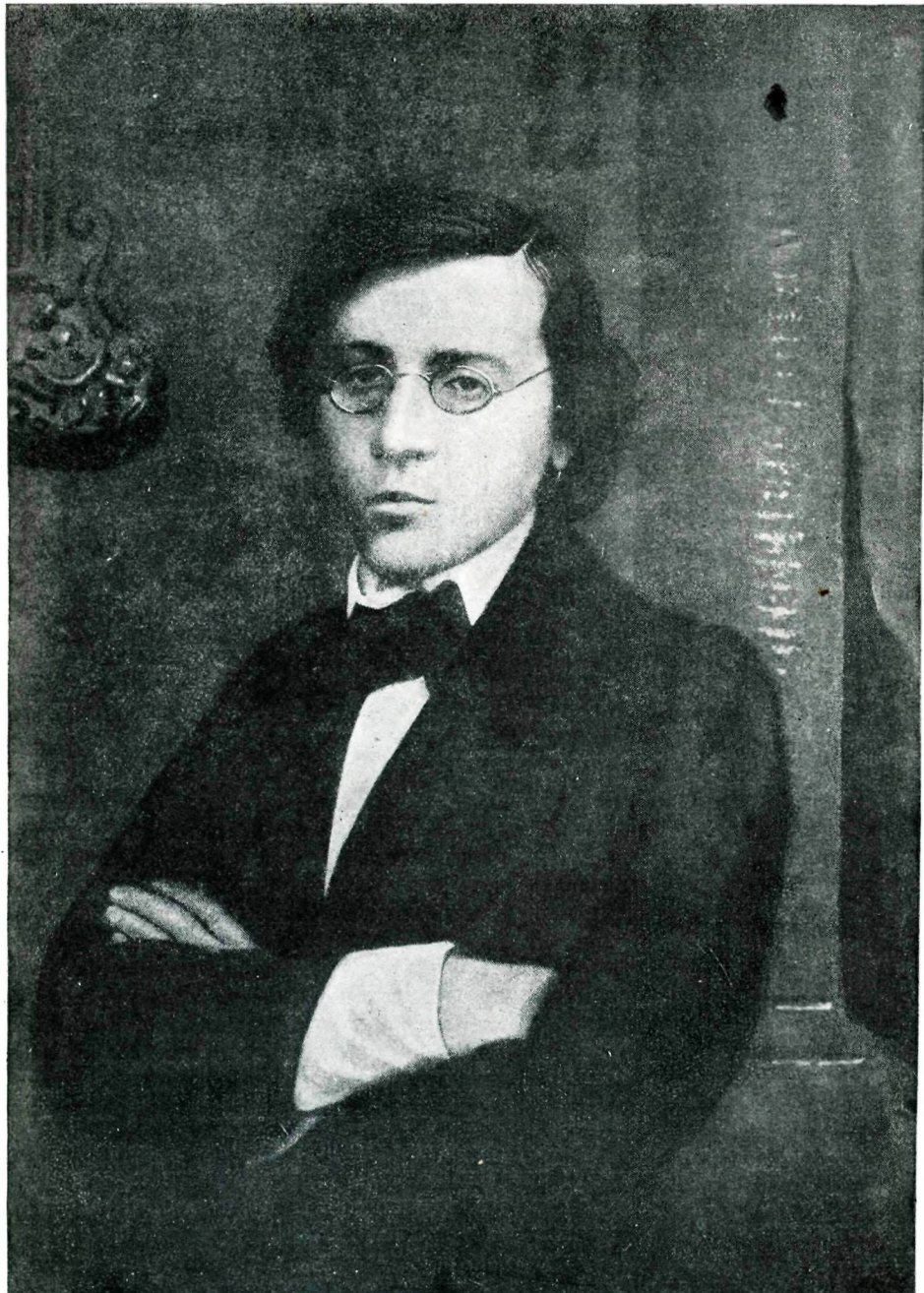
слободе города Воронежа, Чижевке, близ самого алтаря Сошествия Св. Духа; над ними воздвигнут памятник самим протоиереем Евфимием Болховитиновым (Евгений) и, судя по шрифту, с его собственноручной надписью. Примеч. Памятник этот сложен из кирпича, в виде небольшой пирамидки. В нее вделаны две каменные плиты, одна с восточной, а другая с западной стороны, на коих начертаны означенные надписи. Малые дети испортили эту надпись (увы!), да и самая пирамидка ветшает. Нет родственной руки, которая поддержала бы этот памятник (еще более увы!). Выпишем буквально здесь эту эпитафию (ах, сделайте одолжение!).

Здесь погребены
Анна и Пулхерия
Супруга и дочь
Болховитиновы,
Скончавшиеся
Первая на 22-м году жизни,
Августа 21-го дня 1799 года,
Вторая на 1-м году от рождения,
2-го июля того же года,
Которым.....»

и еще десять стихообразных строчек. «По овдовении, в 1799 году протоиерей и т. д. и т. д.» (стр. 227—8).

Скажите, кто же из соотечественников нашего отечества не заинтересуется статьею, в которой сообщают такие интересные местные достопримечательности? Другая ученая статья повествует «о благочестивых обычаях и религиозных учреждениях, существующих у жителей Воронежской епархии»³.

«В заглавии нашей статьи», говорит автор ее, «указываются как будто два различных предмета; но мы большого различия в них не допускаем. Правда, между понятиями «благочестивый обычай» и «учреждение», представляется такая же разница, как между делом самопроизвольным и делом по заказу. Но «...оказывается вот что: «для иного народно-религиозного явления, или по-просту дела, вовсе никогда не было никакого заказа, или приказа, — а оно между тем, это явление или дело, держится в народе так же твердо, как и законное; с другой стороны, — если основанием какого-либо подобного явления и был приказ, т. е. какое-либо распоряжение, какой-либо власти, да забыт, потому что не был записан, или и был записан да запись утратилась, и никто не может даже сказать ничего определенного о времени и обстоятельствах этого приказа, — между тем явление, одолженное ему своим бытием, всегда существовало и живет в народе неистребимо: то будем ли мы правы и проч. и проч.» (стр. 324). — «В Дивногорский монастырь путешествуют жители Воронежской епархии к иконе божией матери, именуемой Сицилийскою. Икона в длину около пяти четвертей и около аршина в ширину, украшена сребро-позолоченою ризой с жемчугом» (стр. 331). — «Местных и случайных крестных ходов, совершаемых в Воронежской епархии, много; но из них, о более благолепных и торжественных, каковыми они удобнее могут быть в городах, мы к сожалению, имеем мало сведений. В городе Воронеже, к числу таковых ходов относятся: а) крестные ходы из кафедрального собора в кафедральный Митрофанов монастырь; б) крестные ходы меньшего размера, совершаемые из собора к четырем из приходских церквей. — После крестных ходов, совершаемых в городе Воронеже, все прочие ходы можно разделить на следующие 4 класса: а) ходы вокруг церквей; б) ходы от одного места до другого с какой-либо замечательной иконой; в) ходы в поля, и наконец д) ходы, совершаемые во время бедствий» (подробности см. стр. 338—40).



Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
Фотография 1859 г.
Дом-музей Н. Г. Чернышевского, Саратов

—«Крестный ход из Дивногорского монастыря совершается с иконой божией матери Сицилийской, и притом в два места: в г. Коротояк и г. Острогожск. Ходы эти замечательны тем, что учреждены в недавнее время. Жители г. Острогожска 1847 г. 29 августа, упростили настоятеля монастыря спустить икону к ним в город. Настоятель дозволил им нести икону в их город. В следующем 1848 г. граждане Острогожска снова испросили чудотворную икону в свой город. Но на этот раз усердию их помешали другие молитвенники. 30-го июня явились в Острогожске жители г. Коротояка с тем, чтобы по давнему обыкновению взять икону к себе. Граждане острогожские не давали, и вошли к владыке прошением, о дозволении им брать икону из монастыря ежегодно, на том же праве, как это делают жители г. Коротояка; именно на два месяца. В такое время, писали просители, и усердие наших граждан будет исполнено и благолепие церковное в монастыре от сборов значительно умножится. Хотя повелено было удовлетворить благочестивое желание граждан острогожских, но в соглашении о сем предмете с гражданской властью для просителей возникло новое затруднение. Начальнику губернии, крестный ход с иконой из монастыря в г. Острогожск неприменно хотелось приурочить к десятой пятнице по пасхе, так как в это время бывает в городе скотная ярмарка. Наконец крестный ход был разрешен» (стр. 342). «Говоря о крестных ходах с замечательными иконами, автор погрешил бы, умолчав об иконе божией матери всех скорбящих радости, находящейся в Иоанно-Богословской церкви города Воронежа — тем более, что на него возложено промыслом и служение пред сей иконой. О сей иконе прилично здесь сказать и потому, что если с ней одной, или для чествования ей одной, и нет особых ходов, зато без нее не бывает в городе ни одного крестного хода. Это уже одно показывает, каким уважением чествуется помянутая икона. У старожилов города и в целых некоторых фамилиях живо хранится в памяти постоянное и всегда особенное уважение, каким чествуется икона сия, находящаяся в церкви, при которой служит автор. Она всегда считалась явленной и чудотворною. Всегда прибегали к ней, носили ее по домам с особенным усердием и уважением, приглашая конечно и служащих пред сею иконой⁴. Величина иконы: 1 аршин и 6 вершков длины и 1 аршин ширины, почти квадратная; лик самой пресвятой богородицы, давно уже покрыт слюдой, а равно и лики других сопричастующих ей» (стр. 344—5). «Почти во всех доселе описанных нами крестных ходах легко можно усмотреть побуждения, породившие их; это — или чувство благодарения к богу и святым его за дарованные благодеяния, или желание торжественнее почтить праздники господни, равно как и самые иконы, от коих когда-либо происходила или происходит благодатная помощь» (стр. 345). «Род местных благочестивых обычаев у жителей воронежской епархии составляет еще особого рода празднование некоторых праздников. Накануне нового года, вечером, парубки и дивчата с молодимицами ходят по улицам, останавливаются под окнами домов и поют щедривку: «сев Иисус Христос ужинать, пришла к ему божья мати: ой, дай, сынку, золоты ключи отпереть рай» и т. д. Накануне рождества и богоявления варят кутью и вывар из разных плодов и ставят их на покуте (угол под образами). Вообще воронежская епархия, отличается особенным благочестием» (стр. 357)⁵.

Статья «Город Нижнедевицк и его уезды»⁶ представляет много интересных подробностей; в ней говорится, что «цивилизация Нижнедевицка идет медленно и на пути просвещения жители его не делают заметных успехов». Рассказывается — чему впрочем мы не совсем верим — будто бы крестьяне Нижнедевицкого уезда живут в курных избах не совсем чистых, едят щи, кашу, грибы, лук и картофель, а иногда и молоко, будто бы

«мужья спят с женами, особенно молодые» (стр. 277), верят в леших, домовых, ведьм и «в обыкновенных своих житейских делах подчиняются пред-рассудкам» и т. д. Другие ученые статьи не представляют местного интереса и написаны не соотечественниками нашего отечества, а учеными отдаленной Европы⁷, и попали в «Воронежский Сборник» к величайшему своему изумлению. Чисто литературный отдел «сборника» чрезвычайно богат и разнообразен: есть тут повести, романы, драмы с прологом и эпилогом, и оригинальные и переводные; стихов целая бездна; одних стихотворений г. Кельта больше десятка номеров. В них воспеваются красоты природы, в особенности любовь, любовь счастливая, когда она говорит ему:

Приди ко мне во мраке ночи—
И много счастья ждет тебя.
Смотри какое совершенство (?)
Сосредоточено во мне!

и любовь несчастная, когда

... Отдалась она вся безраздельно
Ему, но он не дал ей счастья.
Страшна ему стала семейная ноша,
Несносны заботы, занятия.
И стал бедняком он: в кармане ни гроша,
В душе пустота и проклятья,
С утра по трактирам, он целый день рыщет
Отраду там жизни находит,
А вечером к дому дороги не сыщет,
Когда кто-нибудь не проводит.

Подумаешь, что это пародия; а ведь поэт поет совершенно серьезно и думает нас разжалобить своими стихами и возбудить сострадание к той, которая

... все трудится, горючие слезы
В прекрасной душе подавляя.

ВОРОНЕЖСКАЯ БЕСЕДА НА 1861 год,
ИЗДАНИЕ М. ДЕ-ПУЛЕ и И. ГЛотова. СПБ. 1861.

В последнее время Воронеж отличился во многих отношениях, обратил на себя общее внимание и приобрел даже европейскую известность. Важны же, должно быть, воронежские события, когда на них обратила внимание Европа⁸; как же нам оставаться равнодушными к славе Воронежа? Отличаясь пред лицом Европы, Воронеж не забывает и своего отечества и заражает на алтарь отечественного просвещения две лепты в виде двух огромных печатных томов. В провинциальном городе, не имеющем официального учебного центра, вдруг появляются два учено-литературные сборника; как хотите, а это много значит. Конечно, тут дело не обошлось без конкуренции: «Беседа» и «Сборник» знали о существовании друг друга еще до своего появления в свет, и, разумеется, во что бы то ни стало, старались перещеголять друг друга; соревнование было самое усиленное и труд употреблялся самый напряженный. Кто перещеголял и кому принадлежит пальма первенства,— об этом пусть судят сами читатели. «Беседа» пошла иным путем и обнаружила другие вкусы, чем «Сборник»; вместо «Очерка ученых трудов Евгения», находящегося в «Сборнике», в «Беседе» помещена критическая статья о Кольцове г. де-Пуле, не представляющая впрочем ничего замечательного, кроме того, что автор ее

чрезвычайно усиливался поставить «Кольцова на историческую почву» и все-таки не поставил⁹; вместо статьи «об обычаях и учреждениях», украшающей «Сборник», в «Беседе» есть «нечто о воронежских пусто-святых и юродивых», где между прочим говорится, что «Воронеж не только, не отстал от Москвы, породившей пресловутого Ивана Яковлевича¹⁰, но едва ли не превзошел нашу первопрестольную столицу»,— что, к досаде хвастливых москвичей, можно сказать обо всех богоспасаемых градах российских; вместо стихотворений Кельта, наполняющих «Сборник», в «Беседе» помещены стихотворения Никитина и Берга; вместо описаний крестных ходов и плача над разрушенной «малыми детьми» пирамидкою Анны и Пульхерии, умилившего нас при чтении «Сборника», в «Беседе» помещены «Материалы для статистики Воронежской губернии», очень подробные и обстоятельные, и несколько интересных исторических документов о местных самозванцах, выдававших себя за Петра III. На основании одного этого, читатель, не задумываясь решит, кому из конкурентов отдать преимущество. Есть, впрочем, в «Беседе» провинциальные наивности, рассказы про виды, виданные везде. «Рождественские святки» у малороссиян Павловского уезда» рассказывают, например, что ожидая праздника, малороссыяне рано укладываются спать, что первый удар утреннего благовеста пробуждает их и первым делом их бывает благодарение господу; оно выражается крестным знамением, которым они осеняют чело свое, и возжжением свечей пред иконами; что малороссыяне Павловского уезда во время праздников едят, пьют, ходят в гости к родичам, хорошо знакомым и т. д. «Некоторые черты из вседневной жизни помещиков Бирючевского уезда прошлого и настоящего времени» повествуют, что «с водкой встречали гостей и утром и в полдень, и во всякий час после обеда. В то время не пить водку в доме хозяина, значило его обидеть. Чарующее влияние горелки еще более способствовало к удлинению помещичьих визитов, продолжавшихся иногда несколько дней,— явление впрочем обыкновенное во всем русском помещичьем мире» (то-то и есть).— «Еще замечателен другой способ лечения лихорадки: на лоскутке бумаги пишут слова магического треугольника: абракадабра; под этим словом, внизу пишут: бракадабр; ниже этого — ракадаб. и т. д. сокращая слово...» Провинциалы должно быть, не знают, что нам все это очень хорошо известно из «Энциклопедического Лексикона»; известно даже, что это слово, быть может, произошло от абраксас; Как в старину бвало, так и теперь ведется обыкновение, при поздравлении молодых с бракосочетанием, или с желанием будущего счастья, при каждом приговоре приветствующего: «горько» — музыка играет туш, а молодые целуются». Вишь, что придумали бирючевские помещики,— обыкновенно музыка играет! Мы отроду не видали бирючевских помещиков, а знаем однако ж, что они при встрече подают друг-другу руки, некоторые целуются, охотятся, разъезжают на тройках, плодят детей и величают своих супругов «душеньками!»

Украшение «Беседы» составляют произведения Никитина «Тарас» — поэма, и «Дневник семинариста»¹¹. Содержание поэмы очень просто. Тарасу, молодому парню, хотелось жить, как живут люди, и как требовала его богатая и сильная натура; он искал доли и счастья, житья полного и привольного, которое было бы «по нем». Сил у него было много, и он не жалел их, готов был работать сколько угодно; но ему казалось, что труд не должен быть напрасным и ни к чему не ведущим, что работа должна спасать от горя и нищеты. Не все же беспрестанно работать и трудиться из-за куска хлеба, быть в заботах и хлопотах, не зная отдыха не видя приволья и нигде не слыша ни ласки, ни привета; можно когда-нибудь пожить, вздохнуть свободно, отвести душу, порадоваться сердцем. А в жизни Тараса все выходило наоборот: неустанная работа не давала

ему ни на минуту опомниться и перевести дух; он метался в разные стороны, не жалел молодецких сил, работал, работал, а нищета и нужда везде шли за ним по пятам.

Нужда, нужда! Все старые избенки,
В избенках сырость, темнота;
Из-за куска и грязной одежки
Все бьются... прямо нищета!
Житье, житье! закован, точно в цепи,
Молчи, да чахни от тоски...
Эх, если бы махнуть мне на Дон в степи,
Или на Волгу в бурлаки!
Так изывал Тарас от дум-заботы;
И грезя про чужую даль,
Он шел межами с полевой работы,
Домой, на горе и печаль.

Дома мать старушка рыдает, пьяный отец бушует, бранится и дерется. Прежде он тоже был степенным человеком, трудился и работал, и видно, подобно Тарасу, надеялся жить по-людски, думал доработается до доли и до счастья. А потом увидел, что все напрасно, что труд не привел его ни к чему, что сколько ни трудись, никогда не уйдешь от горькой доли и нищеты. Вот он и перестал работать, надоело ему: пусть-ко еще поработает сын, благо вырос большой, а сам с утра до ночи в кабаке.

«Ну, кто тут? Эй, жена, зажги лучину!
Я шапку пропил... да! смотри.
Весь век работал... ну, пора и сыну
Работать, черт вас побери!»
«Весь век пахал... все нищий... чтожь работа?
Вестимо так. И хлеб и квас —
Мы все добудем! Важная забота!
Ну, пьян. Никто мне не указ!

Сын не отказывался от работы, работал как вол, и за себя, и за отца. Труд для него не страшен, был бы толк в труде, была бы возможность жить.

«Эх-ма, уж день!» Тарас тряхнет кудрями:
Ну, видно после, мол, поспишь...
И вот с сохою едет он полями:
Дорога — скатерть, в поле — тишь.
Заря погасла. Кончена работа.
Уснуть бы, кажется, пора.
Да спать-то парню не дает забота —
Коней ведет он со двора.

Но напрасно трудится парень; нет ему счастья, доля его все горька. Вот он решается искать счастья на чужбине, оставляет родимую сторону, прощается с рыдающей матерью, оставляет даже «милую» и отправляется в чужую даль, в степи. Еще усерднее принимается за труд, работа кипит в его руках.

Стога растут. Покос к концу подходит.
Степь засыпает в тишине
И на сердце, нагая, грусть находит...
Косарь не рад своей казне:
Так много нужд! Он проил столько пота
Казны так мало накопил...
Куда ж итти? опять нужда, работа;

Опять нужда, растрата сил!
 К чему казна, когда растратишь силы
 И будешь сыт... так до сырой могилы
 Трудись, трудись... но жить когда?
 К чему казна, когда растратишь силы
 И надорвешься от труда?

В самом деле, положение очень неловкое и незавидное. Наконец Тарас отправился бурлаковать на Дону с той же непреклонной решимостью работать до пота, только бы найти долю-счастье. Но и тут он не нашел ничего.

И думал он: вот я и дом покинул...
 Была бы только жизнь по мне,
 Ведь кажется, я б гору с места сдвинул,—
 Да что... заботы все одне!
 Припомнил он, как расставался с милой!
 Зачем? Что ждало впереди?
 Где же доля-счастье?.. Как она любила!..
 И сердце дрогнуло в груди.

И так Тарас ничего не добился своими трудами, лишениями и жертвами; спасая потопавшего плотника, он и сам утонул.— Вот экземпляр и обыкновенная история растений, во множестве произрастающих на нашей почве; и мы рекомендуем поэму Никитина вниманию людей, особенно заботящихся о сближении с почвой¹².

Живется ж людям в нужде без печали!
 Так наши деды жизнь вели,
 Росли в грязи, пахали, да пахали,
 С нуждою бились, в гроб легли!
 И с ними... Точно смерть утעה!
 Ищи добра, броди в потьмах,
 Покуда, свету божьему помеха,
 Лежит повязка на глазах.
 Не весела ты, глушь моя родная!
 Поникли ивы над рекой,
 Молчит дорожка, травкой заростая,
 И бродит люд, как испитой.

«Дневник семинариста» имеет почти такое же содержание, как и поэма; здесь даровитый юноша тоже ищет доли-счастья, хочет жизни разумной, человеческой. Душа ищет простора, ум стремится к знанию, любознательность требует пищи, мысль жаждет света, порывается к свободной и сознательной деятельности; чувство так же заявляет свои права и требует удовлетворения. В уме юноши возникает множество вопросов, везде он встречает предметы, возбуждающие его пытливость и вызывающие на размышление; все бы ему хотелось узнать и понять. Способности у него отличные, усердия и прилежания много; подобно Тарасу он трудится не жалея сил, учится, заучивает уроки, слушает наставления, читает, сочиняет. Но все напрасно; удовлетворения своим стремлениям он не находит, его нравственная натура инстинктивно чувствует продолжающийся голод, недостаток света и свежего здорового воздуха, он сознает, что у него «лежит повязка на глазах». И отчего это произошло, когда были налицо все внутренние средства и условия для развития и просвещения? Бедный юноша не в силах был сам собою справиться с той великой и трудной задачей, которую задавала ему его богато одаренная натура.

Даже при величайшем напряжении своих сил, что он мог сделать один, без указаний и руководства, без совета и наставлений? Разве воспитание не нужная вещь, и даже более, разве оно не неизбежно необходимо? И что такое эти дети природы, и чего они достигают предоставленные сами себе? Самые дикие мысли могут приходить им в голову; но их никак нельзя осуждать за это, они просто достойны сожаления. Белозерский семинарист в начале своего дневника вдаетя, по его собственному признанию, «в самые странные рассуждения» и оправдывает их таким образом:

«Вы забываете, что я связан по рукам и по ногам. Если бы я спросил о чем-либо, не прямо относящемся к моему делу — к лекции, кого чибудь из наших профессоров, меня назвали бы дураком; если бы я спросил кого-либо из моих товарищей,— более скромный из них посмеялся бы надо мною, более дерзкий послал бы меня к чорту. На всякий возникающий во мне вопрос, на всякое рождающееся во мне сомнение я должен искать ответа только в самом себе. За что ж лишать меня моей единственной отрады — свободы мысли? Если всюду и перед всеми мне приходится скромно потуплять глаза и покорно наклонять свою голову, по крайней мере в те минуты, когда работает моя голова — когда перо мое не успевает следить за быстрой мыслью, пусть я буду независим, пусть я буду человеком, свободно проявляющим дар своего живого слова» (стр. 133).

Конечно, можно находить ответ и в самом себе, свободно работая мыслью, можно самому разрешать свои сомнения, особенно когда силен ум и крепка мысль; можно пользоваться и внешними посторонними средствами наставления и учения, читать книги, пользоваться наблюдениями и опытами других. Но ведь часто внешние обстоятельства искусственным образом так располагаются вокруг юноши, что он совершенно запутывается в них своею мыслью; искусственные влияния окружают его со всех сторон и нарочно направляются таким образом, чтобы запереть ум юноши в известный заколдованный круг, из которого ему не было бы никакого исхода, или и был исход, да только известного рода. Вследствие этого он и вертится в одном ограниченном кругу понятий, как белка в колесе; и таким хитрым манером у него совершенно стнимается свобода мысли. Он со всех сторон окружен мутным, закопченным стеклом, через которое все предметы непременно должны представляться ему в мрачном, грязном и извращенном виде; ему нет возможности никогда высвободиться из под такого стеклянного колпака, всегда он носит его на себе, и потому в нем не может быть и мысли о том, что предметы могут существовать и могут казаться совершенно в другом виде, чем как они представляются ему; всякое новое понятие, выходящее из круга его условных искусственных воззрений, пугает его, отталкивает его от себя кажуся нелепостью и невозможностью. Он принужден заниматься такими сухими и окаменевшими предметами, что об них невольно притупляется ум; их не переваривает мысль, они только обременяют ее, расстроивают только такие, которые соответствуют грязному цвету окружающего его колпака, и которые могут содействовать развитию его воззрений в известном только направлении; доступ к нему всего постороннего, чистого и свежего прегражден; ко всему внешнему он питает искусственно и тщательно возбужденное недоверие и даже презрение. Вот и пусть свободно движется его мысль в этой ограниченной рамке, в искусно устроенной тесной клетке, это неволя и тюрьма, а не свобода. Куда бы он ни пошел непременно придет к одной известной данной точке и непременно на ней остановится. Если в таком положении юноша станет искать в самом себе ответов на свои вопросы, то он их вовсе не найдет, или найдет одни только фальшивые и ложные, своих сомнений он не разрешит, а только затушит и затемнит их. Он потеряет даже веру в законность своих есте-

ственных стремлений и требований чувства, которые покажутся ему чем-то омерзительным, что нужно подавлять. Все это волей-неволей заставляет нас сказать, что воспитание полезно и необходимо. Но мы удалились от нашего предмета, «Дневника». Чтобы дать понятие о «Дневнике», выпишем из него наудачу несколько мест.

«Маменька подчивала меня, как гостя. Хорошая она, право! Она давала мне совет относительно занятий, разумеется, в отсутствии батюшки, который не терпит, чтобы женщины вмешивались в дела науки. Взгляд батюшки еще не так строг. Другие смотрят на женщину, как на аспида и василиска. Правда, я много читал, но от всего мною прочитанного выходит заключение такого именно рода, что женщина — аспид и василиск (стр. 133),» — «Мне нужно подумать о плане, заданного нам на каникулярное время, рассуждения на тему: каким образом ум, как источник идей, может служить средством к приобретению познаний (тема изоцряющая ум)». — «По выходе из церкви, на паперти, меня встретили две чернички, одна старая, другая молодая и прехорошенькая. Она пригласила меня к себе. Молодая черничка сидела против меня и так близко, что ее горячее дыхание касалось моего лица. Черное платье, застегнутое на груди белую перламутровую пуговкой, растепнулось, и я сгорел от стыда и еще от другого, доселе незнакомого мне чувства. Совесть моя говорила мне, что я поступаю не хорошо, но непонятная сила удерживала меня на месте, занятом мною против чернички. В другой раз я зашел к ним... И лица моего коснулось ее горячее дыхание, моего плеча коснулось полуобнаженное, горячее плечо. По всему моему телу пробежал сладостный трепет. Я крепко обнял обеими руками ее тонкий стан, и на губах моих, в первый раз в моей жизни, загорелся поцелуй... Несколько дней я не брался за перо. Теперь горячка моя поутихла и я могу спокойнее и глубже заглянуть в мою душу. Ясно, что я с намерением не давал воли своему рассудку. Я горю со стыда, когда батюшка останавливает на мне свой взор, будто хочет сказать: «Ах, Вася, не хорошее дело ты сделал» (стр. 141). — В семинарии отец отдал Васю Белозерского под особенный надзор и руководство профессора Федора Федоровича К., у которого на квартире он и жил. «Ну, Белозерский, дай-ко мне папиросу; они вон на окне лежат», — сказал мне Федор Федорович, выходя из-за стола: «да пожалуйста, будь поразвязнее и уж извини, брат, что я начинаю с тобой обращаться на ты. Смешно же нам церемониться; ты проживешь у меня не один день...» Так, подумал я, вот и первое сближение ученика с профессором. Посмотрим, что будет далее. — Позвольте узнать, что вы посоветуете мне прочитать по части философии? Он рекомендовал мне следующее: «Опыт науки философии», Надеждина, «Опыт системы нравственной философии», Дроздова, «Опыт философии природы», Кедрова, и несколько разных руководств по логике и психологии. Все это, сказал он, вы можете спросить в семинарской библиотеке. Ну, подумал я, эта песня потянется на долго. Библиотекарь, занимающий вместе с тем и должность профессора, когда попросишь у него какую-нибудь книгу, или отзывается недосугом, или тем, что ключ от библиотеки забыт им дома, или, когда бывает не в духе, просто откажет так: «вы просите книги, а наверное урока не знаете... Читатели! Трепать берете, а не читать... ступайте откуда пришли!» (стр. 153). — «Федор Федорович вошел в класс и в речи своей сказал: «силы ваши теперь (после каникул) освежились. Итак — вам предстоит с новым рвением взяться за труд, ожидающий вас на широком поле науки. Что касается меня, я употреблю все, зависящие от меня средства, чтобы не пропало даром то время, которое вы проведете со мною в этих стенах»... И он торжественно указал левою рукою на стены. «Садитесь!» Мы сели. Сел и Федор Федорович к своему четырехугольному столику и вынул из бокового кармана своего сюртука небольшую тетрадку. Это были его собственные, или

лучше сказать, академические записки о психологии, по которым когда-то учился он сам, и которые переделывает и сокращает теперь для нас. Последовало медленное чтение. Федор Федорович взвешивал каждое слово, как иной купец взвешивает на руке червонец, пробуя, не попался ли ему фальшивый. «Самонаблюдение, какого требует психология, повидимому, не представляет собою занятия трудного, потому что предмет самонаблюдения для каждого человека есть он сам. Но то самое обстоятельство, от которого зависит, повидимому, легкость психологических исследований, что каждый человек есть сам для себя и предмет и содержание психологических наблюдений, составляет одну из главнейших трудностей в деле самонаблюдения; потому что человек меньше всего знает то, что он есть. Чтобы наша душа могла наблюдать самое себя, для этого ее мысль, ее сознание должны быть обращены на нее же саму; между тем: А) познание, приобретаемое нами таким образом о нашей душе, совсем не так ясно, как познание о внешнем мире и других предметах. Познание об этих предметах может быть для нас ясным оттого, что они противопоставляются нашей душе, как отличное от нее; но наше я не может противопоставить самого себя, как внешний предмет. Правда, что при самонаблюдении возможно раздвоение некоторым образом и самопротивопоставление нашего сознания потому, что кроме акта наблюдения должны также продолжаться действия наблюдаемые, но при таком наблюдении сознания обыкновенно ослабляется сила и живость наблюдаемых им психологических явлений. Тогда как в внешнем мире предметы представляются нам в раздельности, мир внутренний является пред внутренним оком в совершенном смещении...»—«Я привожу здесь этот отрывок лекции с тою целью, чтобы он поглубже, так сказать, засел в мою голову.»—«Случайно я достал и прочитал Гоголя. Так вот, кто этот Гоголь!.. И об этом-то Гоголе одному из наших наставников угодно было выразиться, что произведения его пахнут кухней и конюшнею, что им выведены на сцену какие-то обжоры и разная сволочь, что все это уродливо и безобразно. Ну, нет, почтеннейший наставник!! Уж на этот раз позволите с вами не согласиться. Чичиков, Плюшкин, Собакевич, Ноздрев,— это такие личности, которые никогда не выйдут из моей памяти. Читая книгу, мало того, что я их вижу, мне кажется, я их осязаю, мне кажется, я чувствую их дыхание. Жизнь ключем бьет из каждой строки! Господи, да какой же я дурак! Прожить 19 лет и не прочитать ни одной порядочной книги... Все живое до того мне чуждо, как будто я существую на другой планете и нет у меня ни костей, ни плоти» (стр. 161).—«Вчера Федор Федорович праздновал день своего рождения. Вечером собралось несколько профессоров; пришел и Иван Ермолаевич. Вступив прямо из академии в должность профессора, он хотел было ввести в своем классе новый метод преподавания, советовал ученикам знакомиться с русскою литературою и выписывать общими силами журналы. Ученики его полюбили. Начальство поставило ему на вид, что он читает не в светском учебном заведении, и приказало ему вперед не умничать. Иван Ермолаевич покорился не вдруг. Ему снова сделали замечание. Он решил оставить семинарию и занять место гражданского чиновника; к сожалению, места не нашлось; бедняга притих, стал заливаться и заниматься делом спустя рукава. — Между тем началось приготовление к закуске. В это время Иван Ермолаевич, никем не замеченный, вышел в переднюю и стал отыскивать свои калоши. Я подал ему его шинель. «Вы семинарист?» — спросил он меня.— Да, семинарист. — «А к лакейской должности не чувствуете особенного призвания?» — Нет, — отвечал я с улыбкою. «Ну, слава Богу. Что ж вы третесь в передней. Шли бы лучше в свою комнату и на досуге читали бы там порядочную книгу... До свидания». — Он надвинул на глаза свой картуз — и ушел. Я не оставался без дела: помогал кухарке перетирать тарелки, сбегал однажды за квасом, которого оказалось мало и за ко-

торым кухарка отказалась итти в погреб, сказав, что по ночам она ходить всюду боится и не привыкла, и ломать своей шеи на скверной лестнице не намерена. Потом опять взялся перетирать тарелки и, по неумению с ними обходиться, одну разбил. Кухарка назвала меня разинею, а Федор Федорович крикнул: «нельзя ли поосторожнее?» Наконец, каждому гостю поочередно я розылкал и подал калоши, накинул на плечи верхнее платье, и усталый, вошел в свою комнату. Сальная свеча нагорела шапкою и едва освещала ее непризветные стены. Федор Федорович заглянул ко мне в дверь. — «Вот видишь, мы там сидели, а тут целая свеча сгорела даром. Ты, пожалуйста, за этим смотри» (стр. 169—70)». «Не скажу, чтобы я сделался ленивым оттого, что пристрастился к чтению. Уроки выучиваются мною попрежнему. Но все это делается *ex officio*, а уже никак не *con amore*. Ни одно слово из бесчисленного множества остающихся в моей памяти слов не проникает в мою душу, ни одно слово не веет на меня освежительным дыханием жизни, близкой моему уму или моему сердцу» (стр. 179). «Наступил экзамен нашему классу. Ученики выходили по вызову друг за другом. И вот один, малый впрочем не глупый (относительно) замаялся и стал в тупик. «Ну что ж. Вот дурак. Повтори, что прочитал.» — Хотя творчество фантазии, как свободное преобразование представлений, не стесняется необходимостью строго следовать закону истины, однако ж показываясь представлениям, взятыми из действительности, оно тем самым примыкает уже к миру действительному. Оно только расширяет действительность до правдоподобия и возможности... «Что ты разумеешь под словом: показываясь? — Слово: проявляясь». «Ну, хорошо. объясни, как это расширяется действительность до правдоподобия». Ученик молчал. «Ну, что ж, объясни...» Опять молчание. — «Вот и дурак. Ведь тебе объяснили? «Объяснили.» — Ну, что ж молчишь? — «Забыл». Федор Федорович двигал бровями, делал ему какие-то непонятные знаки рукой; ничто не помогло. Не утерпел он — и слова два шепнул. «Нет, что ж. Подсказывать не надо.» «Вы напрасно затрудняетесь», сказал ученику один из профессоров. «Юрия Милославского читали?» — Читал. «Что же там — действительность, или правдоподобие?» — Действительность. «Почему вы так думаете?» — Это исторический роман. — «Нет, что ж, дурак. Положительный дурак! сказал отец-ректор и махнул рукою.» История в этом роде повторилась со многими. Едва доходило дело до объяснений и примеров, ученики становились в тупик. В числе других вышел ученик второго разряда, очень молодой, красивый и застенчивый, за что товарищи прозвали его прелестною Машенькою. Он робко читал по билету, который ему выпал, и во время чтения не поднимал ресниц. «Так, так», говорил отец-ректор: «продолжай». И затем он обратился с улыбкою к профессорам: «какой он хорошенький, а? не правда ли? Как тебя зовут?» — Александром. К концу экзамена отец-ректор, как видно, утомился. Стал смыкать свои глаза и пропускать нелепые ответы мимо ушей. Ученики не преминули этим воспользоваться, однако один попал впросак: заговорив об органах чувств, он припел сюда и память, и творчество и прочее, и прочее, лишь бы не молчать. Вот, сколько мне помнится, образчик на выдержку: «Органы чувств суть: глаза, уши, нос, язык и вся поверхность тела. Заучивание бывает механическое и разумное... однако ж бывают случаи, фантазия может создать крылатую лошадь, но только тогда, когда мы уже имеем представление о лошади и крыльях и сверх того... и... напрасно строгие эмпирики отвергают в нас действительность кма, акт высшей, познавательной способности...» — Так, так! — говорил отец-ректор, бессознательно кивая головою. Федор Федорович не прерывал этой галиматши, что было очень понятно» (стр. 181—2). «Григорий, слуга Федора Федоровича, заболел простудою и слег в постель. Таким образом волею-неволею мне пришлось заменить его должность, т. е. состоять на посылках и исполнять разные поручения и прихоти моего наставника. Только-

что я возьмусь за книгу, — «Василий!» — раздается знакомый мне голос: «сходи-ка-ко на рынок и купи мне орехов, да смотри, выбирай, какие по-свежее». Орехи принесены, молоток, чтобы разбивать их, подан, я опять берусь за книгу и читаю при громком стуке молотка. «Василий! поди-ко собери скорлупу и вынеси ее на двор». Скорлупа вынесена, я снова принимаюсь за книгу. «Василий! поди-ко вычисти мне сапоги». И вот я развожу на старом блюдечке ваксу и чисту сапоги, а наставник мой покоится на диване, заложив под голову свои руки, курит папиросу и смотрит на потолок. Теперь я окончательно убежден, что он строго следит за ходом моего развития. Сегодня за обедом у меня был с ним следующий разговор: «Чем ты занимаешься?» — спросил он у меня, накладывая себе на тарелку новую порцию жареного поросенка. — Читаю Фон-Визина. — «Читал бы что-нибудь серьезное если уж есть охота к чтению, вот и была бы польза. Эти Фон-Визины с братиею отнимают у тебя только время. Что это за сочинение? Вымысел и больше ничего. Кажется, я говорил тебе, какие книги ты должен читать из нашей библиотеки». «Да, — подумал я, — просьбою о выдаче мне этих книг я надоед библиотекарю так же, как надоедает иной заимодавец своему должнику об уплате ему денег. Кончилось тем, что победа осталась на моей стороне. Библиотекарь, выведенный из терпения, плюнул и крикнул с досадою: «возьми их, возьми! Отвяжись пожалуйста!...» — Я читал «Опыт философии» Надеждина, сухо немножко, сказал я, стараясь по возможности смягчить вертевшийся у меня в голове ответ: темна вода во облацех. — «Смыслишь мало, оттого и выходит для тебя сухо. А ты делай так: если прочитал страницу и ничего не понял, опять ее прочитай, опять и опять... вот и останется что-нибудь в памяти и не будет сухо». На последнем слове он сделал ударение. Очевидно, ответ мой ему не понравился. — «Чтение журналов», — продолжал он, — «тоже напрасная трата времени. Ты видишь, я сам их не читаю, а разве проигрываю от этого? Тебе, например, дается тема: знание и ведение суть ли тождественны, или в чем состоит простота души, — ну что же ты почерпнешь из журналов для своих рассуждений на обе эти темы? Ровно ничего. Нет, ты читай что-нибудь дельное, а не занимайся пустяками» (стр. 189—90). — Однажды к Федору Федоровичу пришел Иван Ермолаич и завел с ним спор. «Но помилуйте! Что ж это такое? Чем я виноват? — вскричал Иван Ермолаич, поднимаясь со стула и вдруг одушевляясь: — вот ученики собрали 30 руб. сер. и просили меня, слушайте: чтобы я составил им по своему выбору библиотеку, которою они могли б постоянно пользоваться и от времени до времени ее увеличивать. Мысль прекрасная, не правда ли? Я пошел к отцу-ректору и объяснил ему, в чем дело. «Вы, сказал он, спросились бы прежде у того, кто постарше вас, тогда и собирали бы деньги». — Деньги, отвечал я, мне принесли собранными. «Так, так. Ну, что ж вы хотите купить?» — Конечно, говорю я, что-нибудь для легкого чтения, например: сочинения Пушкина, романы Вальтер Скотта, Купера... «Ну, вот, вот! Пушкина... стишки, больше ничего, стишки. Опять вот Купера. Кто это такой Купер? О чем он писал? Нет, нет! романы нам не годятся.» — Да ведь у нас читают Поль-де-Кока и тому подобное. Ведь это помой! Не лучше ли дать ученикам что-нибудь порядочное... «Нет, что ж... нам это не годится. Вы уж пожалуйста не ходите ко мне вперед с такими пустяками А деньги отдайте назад, непременно отдайте». — Помилуйте! — возразил я: устройство библиотеки... «Занимайтесь своим делом, вот что! Мне некогда пересыпать с вами из пустого в порожнее. До свидания!...» — «Скажите по совести, что ж это такое? заключил Иван Федорович» (стр. 197).

Выше мы говорили о необходимости образования, а теперь нам пришлось в голову сказать, что с некоторыми юношами и образование ничего не может сделать, т. е. никак не может переделать их по своему. Их не спутывают ни внешние искусственные обстоятельства, ни искусственные влияния; они

смело выходят из тесного заколдованного круга, сами себе пробивают дорогу и смотрят на все неотуманенным взглядом. Но это натуры редкие, избранные и дорога их усеяна тернием. Чрезвычайных усилий и борьбы стоит им разорвать оковы, связывающие их мысль; эти оковы оставляют на них кровавые и часто смертельные следы и язвы. Выбываясь из ограниченной, окружающей их среды, они должны выносить тысячи нравственных пыток, терпеть оскорбления, преследования, испытывать огорчения, оканчивающиеся мучительной болью в груди. Участь их вообще очень незавидна. — Ах, мы опять уклонились от предмета и чуть было не позабыли сказать, что у Белозерского был товарищ, Яблочкин, тоже умный, но строптивый юноша и уж не такого хорошего поведения и прилежания, как сам Белозерский. Вот что между прочим рассказывает об нем последний.

«Однажды в классе, когда профессор говорил о месте пребывания души в человеческом теле и решил этот вопрос тем, что душа обитает во всем нашем теле, — Яблочкин неожиданно поднялся со скамьи: «Позвольте предложить вам возражение», — сказал он профессору.

— «Так как в сумасшедшем человеке душа не может проявлять разумно своего существования, а по существу своему, не деятельною она быть не может, то чем душа эта бывает занята в продолжение иногда многих лет, т. е. до самой смерти сумасшедшего?»

Профессор стал втупик, и, после долгого молчания, сурово ответил: «сидите на место и вперед прошу поменьше рассуждать, а слушать внимательно то, что вам скажут» (стр. 134—135).

«Вчера, в начале класса (рассказывал Яблочкин), было обращено к нам вступительное слово такого рода: «теперь мы снова приступаем к занятиям. На экзамене перед каникулами отцу-ректору угодно было заметить, что некоторые из вас отвечали ему вяло. На будущее время я требую, чтобы каждый, кого я ни прошу, читал мне лекцию без запинки. А кто во время чтения будет посматривать на потолок, да выдывать эти: гм, гм... того, хотя бы он стоял в первом десятке, я сопхну в 3-й разряд. Вот вам и все!» — «Что ты на это скажешь?» — Уж мы это не раз слышали. Приказано, — стало быть, нужно исполнить, отвечал я. — «Ну, нет, душа моя! Зубрить я не стану. Если бы в самом деле пришлось мне во время ответа взглянуть на потолок, или в сторону — преступление было бы неважное. Экая бурса! Попала на одну ступень и окаменела: ни молодеет, ни стареется» (стр. 159).

«В другой раз» * отец-ректор в классе спросил урок у Яблочкина. Встал он, и начал объяснять лекцию своими словами, и ничего, так знаете, свободно. Объяснил и стоит — улыбается. «Кончил?» спросил его отец-ректор? — Кончил. «Ну, что ж, вот и дурак... и забудешь все через полгода». Яблочкин побледнел, я тоже немного потерялся. Отец-ректор обратился ко мне «у вас в классе 80 человек. Этак нельзя, нельзя! Если каждый из них будет сочинять ответы из своей головы, вавилонское столпотворение выйдет, непременно выйдет...» Я хотел оправдываться. — «Нет, говорит, этак нельзя. Пусть основательно знают то, что для них напечатано, или написано; в их возрасте и этого достаточно...» Повернулся, — и ушел. Я и остался, как оплеванный, и с досады так пробрал Яблочкина, что у него брызнули слезы. Бедный Яблочкин, подумал я: чего ему стоили слезы» (стр. 167—8). «Заходил я к Яблочкину. После нескольких слов со мною, он прилег на кровать. — «Грудь, душа моя, болит, сказал он, смотря на меня задумчиво и грустно: вот что скверно!» — Помнишь ли, сказал я, как тебе досталось за объяснение лекции? — «Еще бы не помнить!» Яблочкин вскочил с кровати. — «Это не беда, это в порядке вещей, что я был оскорблен, и уничтожен моим наставником. Ему все простительно. Его уже

* Рассказ учителя, Ивана Ермолаевича.

поздно переделывать. Но эта улыбка, которую я заметил на лицах моих товарищей в то время, когда у меня брызнули неуместные, проклятые слезы,—эта глупая улыбка довела меня до последней степени стыда и негодования. Дело не в том, что здесь пострадало мое самолюбие, а в том, что эта молодежь, которая, казалось бы, должна быть восприимчивою и впечатлительною, успела уже теперь, в стенах учебного заведения, сделаться тупою и бесчувственною. Вот что мне больно! Что ж выйдет из нее после, в жизни?»— Охота тебе волноваться, сказал я: говоришь, что грудь у тебя болит. — «Как, Вася, не волноваться! Я опять попал было недавно в беду: на-днях в присутствии нескольких человек я имел неосторожность высказать свое мнение на счет одной, известной тебе иезуитской личности, поставившей себе главною задачею в жизни пресмыкаться перед всем, что имеет некоторую силу и некоторый голос и давит все бессильное и безответное!.. «Инспектора?» преврал я его в испуге.— Ну, да! Через два часа слова мои были ему переданы, и он позвал меня к себе.—«Ты говорил вот-то и то?» спросил он меня. Представь себе мое положение! Ответить да, значило обречь себя на погибель; я подумал и сказал решительно: нет! — «А если, продолжал он, я призову двух сторожей и заставлю тебя сказать правду под розгами?» Я молчал. Сторожа явились. «Признавайся», говорит он,—прошу...» Заметь, какая невинная хитрость: Простит!.. «Не в чем», отвечал я, смотря ему прямо в глаза и дав себе слово скорее умереть на месте, чем лечь под розги.— «Позовите тех, при ком я говорил». Я чувствовал в себе какую-то неестественную силу. Глаза мои, наверное, метали искры. Инспектор отвернулся и крикнул: «Вытолкните его, мерзавца, вон и отведите в карцер!» И я просидел до вечера в карцере без хлеба, без воды, едва дыша от нестерпимой вони... Ну, ты знаешь наш карцер.— Яблочкин снова прилег на свою кровать. Грудь его высоко поднималась. Лицо горело (стр. 173—4). «Яблочкин лежит в больнице. Вот что вчера случилось. Во время перемены классов, он закурил в коридоре папироску и стоял на лестнице, которая ведет в комнаты инспектора. Инспектор увидал и позвал его к себе. Через четверть часа Яблочкин вышел от него бледный, как полотно. «Принеси мне, ради бога, немножко воды», сказал он первому попавшемуся на глаза товарищу, прислонился головою к стене и все кашлял, кашлял; наконец, его ноги подкосились, из горла показалась кровь. Его взяли под руки и отвели в больницу. Доктор сказал, что организм его слишком истощен, да кроме того, вероятно, с ним было какое-то потрясение. — Яблочкин умирал: дыхание становилось все тише и тише; руки холодели. — «Это ты, Вася?» — Я, мой милый, сказал я. «Ступай в университет, а здесь...» Голова его упала ко мне на плечо. Я послушал — не дышит. И тихо я опустил его на подушку, перекрестил, закрыл ему глаза и склонился на колени у изголовья его кровати. И долго, долго текли из глаз моих горькие слезы. Вот что он написал мне на память:

Вырыта заступом яма глубокая.
 Жизнь невеселая, жизнь одинокая,
 Жизнь неприютная, жизнь терпеливая, —
 Жизнь, как осенняя ночь, молчаливая,—
 Горько она, моя бедная, шла
 И, как степной огонек, замерла.
 Что же, усни, моя доля суровая!
 Крепко закроется крышка сосновая,
 Плотно сырою землею придавится,
 Только одним человеком убавится...
 Убыль его никому не больна,
 Память о нем никому не нужна!..
 Вот она,—слышится песнь беззаботная,
 Гостя погоста, певунья залетная,

В воздухе синем на воле купается;
Звонкая песнь серебром рассыпается...
Тише!.. о жизни покончен вопрос.
Больше не нужно ни песен, ни слез!»

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ «Пермский сборник» — повременное издание, печатавшееся в Москве. Ко времени написания Чернышевским рецензии вышло две книги. Первая — в 1859 г., вторая — в 1860 г. Говоря о благосклонном приеме, оказанном этому сборнику в петербургских журналах, Чернышевский имеет в виду рецензии, напечатанные в «Отечественных Записках» 1860 г., т. СХХІХ, стр. 36—44, и в «Современнике» 1859 г. № 10, стр. 357—372 и 1860 г. № 5, стр. 62—66.

² Биографический очерк А. Данского («Воронежск. лит. сборник» 1861.). Евгений (Евфимий Алексеевич Болховитинов) (1767 — 1837), митрополит киевский и галицкий.

³ Статья свящ. Ф. Никонова (ibid, стр. 321—372).

⁴ Фраза, цитируемая Чернышевским: «Находящаяся в церкви, при которой служит автор» в действительности отсутствует в статье Ф. Никонова (см. «Воронежск. лит. сборник» 1861, стр. 344—345). Отсутствуют в ней и слова: «приглашая, конечно, и служащих перед сей иконой».

⁵ Сличение «цитаты», приводимой Чернышевским, с подлинным текстом статьи показывает, что приводимые им выражения взяты не с одной 357 стр. «Воронежского сборника», и что последовательность выражений умышленно нарушена Чернышевским с целью оттенить нелепость резюме автора статьи, утверждающей, что «воронежская епархия отличается особенным благочестием».

⁶ Статья П. Малыгина (ibid, стр. 265—320).

⁷ Имеются в виду помещенные в «Воронежском сборнике» переводы статьи Годри «Д'Орбиньи, его путешествия и открытия» из «Revue des deux Mondes» и статьи Грэссе «Верования в духов и мертвецов в классической древности».

⁸ Ироническое замечание это перекликается с цитатой из «Воронежского сборника», приводимой Чернышевским в его рецензии. В жизнеописании митрополита Евгения (уроженца Воронежа) говорится, что он сделался «вторым русским Нестором... прославившим Россию в ученом мире отдаленной Европы»...

⁹ Статья де Пуле о Кольцове, в которой автор намеревался «поставить Кольцова на историческую почву», не заключала в себе ничего, кроме некоторых биографических сведений о Кольцове. Общий невысокий уровень виден хотя бы из заключительных строк ее «Светлый образ его [Кольцова. — Н. Б.] точно так же, как и привлекательная личность Пушкина, до такой степени обаятелен, что невозможно не простить ему темных сторон, которых он, как человек, не мог не иметь, но которые, как бы по преднамеренному определению судьбы, до сих пор — по прошествии 18 лет после его кончины — остаются неизвестными»...

Сам Чернышевский ставил Кольцова, как поэта, очень высоко (см. его письма к Некрасову) — «Переписка Чернышевского» — «Московский Рабочий», 1925, стр. 23, 29, «Очерки Гоголевского периода» и рецензии на «Стихотворения Кольцова» 1856 («Звенья» 1934 г. № 3—4, стр. 570—576).

¹⁰ «Пресловутый Иван Яковлевич — И. Я. Крещя (1781—1861) — широко известный в свое время юродивый и «прорицатель».

В журнальной литературе 60-х годов именем Крещя пользовались в политических целях — чтобы охарактеризовать нелепость взглядов того или иного противника, его сравнивали с Крещей. Так, в «Северной Пчеле» 1862 г., № 70 в полемических целях связали имя Чернышевского с именем Крещя. В одной из статей там говорилось, что «Чернышевский и Крещя одного поля ягоды».

Упомянутая Чернышевским анонимная статья «Нечто о воронежских пустосвятах и юродивых», помещенная в «Воронежском сборнике» 1861, стр. 145—146, принадлежит И. Г. Прыжову (см. комментарий Альтмана к книге Прыжова «Очерки, статьи, письма». Academia, 1934, стр. 436). В очерках Прыжова Крещя уделена глава в статье «26 московских лжепророков, юродивых, дур и дураков».

¹¹ Несколько раньше Чернышевского о «Воронежской беседе» и о помещенном в ней «Дневнике семинариста» Никитина упомянул в «Современнике» в своих «Заметках нового поэта» И. И. Панаев (см. «Совр.» 1861, № 10, стр. 322—323).

¹² Слова Чернышевского о почве перекликаются со статьей М. Антоновича «О почве (не в агрономическом смысле, а в духе «времени», которая напечатана, как и данная рецензия Чернышевского в XII книге «Современника» за 1861 г. (стр. 171—188). Статья Антоновича направлена против тогдашних «лженароднических» теорий в литературе.